

Письмо в Испанию

Федерико Гарсия Лорке

Живу один — ни денег, ни семьи,
ем кашу, хлеб... рифмую, но не звонко,
и ночью, в тусклом свете от седин,
в Испанию пишу, Гарсиа Лорке,
что здесь, в Сибири, полная труба,
стихи горят попутно, синим газом,
и нефтяная черная судьба
подмигивает высосанным глазом...
А за окном, как бог, встает рассвет,
заходит в кухни, смотрит в чьи-то души,
(как в холодильник — гаснет русский свет,
но есть васаби, соусы и суши).

Я, как и ты, Гарсиа, не юрист.
Пегас — в подковах? Крылья — для поэта!
В Ялуторовске лысый баянист
сыграл мне твой романс и спел сонеты...

Фуанте-Гранде. Вас вели гурьбой;
оливы, ночь, в долине было мглисто,
капрал глумился: «Слушай, голубой,
твоя родня сдала тебя франкистам».
Деталь важна: отец владел землей,
в полях, как мед, густела сладко свекла,
но Рольданы — осиною семьей
жужжали жадно в сумрачные стекла...

Неужто гениям назначен этот срок? —
лет тридцать семь, ну, ладно, тридцать восемь,
трещали ружья, тек свекольный сок,
сжигала листья болдинская осень.



Спать целый день, проснуться и идти,
купить себе два коржика молочных,
раздумывать о женщинах восточных,
о чае, рисе, Шелковом пути;
варить варягов в сумрачном мозгу,
и снег топтать ботинками угрюмо,
и руки по карманам, как по трюмам,
держат, жалея пальцев мелюзгу;
и прочитать «Славяне» — на стекле
той желтой «жучки» битой и убогой;
и тыщу лет за пазухой у бога
сидеть в кимвале медном, как в котле;
кормить печаль и жирный чернозем,
и в волчий глаз смотреть, как в человечесий,
но встать однажды с русами на вече, —
метнуть копьё в заплывший окоем,
сломать крестец, вернув злаченый шлем,
и протрубить в коровий рог над Русью,
что справились и с Големом, и с гнусью, —
без ветхих аллегорий и эмблем.



Я встану под вечер, пройдуся по земле,
Я звук покатаю в разорванном зеве,
И звезды блеснут мне зубами в напеве,
Я свистну в лицо ноздреватой зиме;
И буквою «З» прибывая закат,
Я руки наполню языческим светом,
И брак отменю электричества с ветром,
И буду один на Земле виноват,
Что воды скрывают чудовищных рыб,
Что магма ни слова не знает о маме,
Что темная пропасть в предвечной Тамани
Растит изваянья из каменных глыб;
Но буквою «Р» разгорится рассвет,
И черные вороны вспыхнут как свечи;
На антропосферные грязные речи
Лишь пепел пиитов взметнется в ответ.



Вот пар — над люком с буквой «К»...
Там, за рекою — лесопилка...
(прошу, не ускользай, строка,
как два сиреневых обмылка).
В рулоны свернута трава:
мокра, черна, как рубероид.
А дома ждет меня кровя...
Я тут брожу, как гуманоид.
Мне мелкий дождик мочит плащ.
И хоть рукам тепло в карманах,
я представляю, как палач
с Тamarой пьет в сырых Тарманах.

А то вдруг пятна на воде
ловлю, как золото, на черном.
Ведьмак на нанопомеле
летит к «осколочным» ученым.
А за «Мостом влюбленных» — тьма
горит, как газ, тюльпаном синим.
И трюм Тюмени, как тюрьма;
но в сердце светит мне Есенин.

Открыт колодец; обойдя
его в плаще псевдоиспанском,
кричу проклятья: «бодрийяр!»,
«наркологический диспансер!»
Залит водою переход,
двухвостки хвои — на дороге.
И окровавленный восход
уже плывет в глубоком грогги.



Похож на исполинскую могилу
вагон с углем, когда глядишь с моста.
Наверно, в ад иль в сторону Тагила
через минуту двинется состав.

Пройдет дней сорок, меньше или больше,
в огне котельной сгинет антрацит,
и кучерявый, словно слово божье,
дым в голубое небо отлетит...

Презрев ортодоксальные каноны,
совсем другое выскажу в конце
(пусть светофор с глазищами Мадонны
испуганно изменится в лице):

взойду на мост, и будет мост Калинов,
и вот уже не рельсы, а река...
Хтонических подземных исполинов
не расчленит когтистая рука.



Снег пахнет серой, вороны кричат,
и ель к гортани тянется трехпало,
и детский сад без ласковых волчат
в воскресный день — Омега и начало...

Распято солнце маковкой сосны,
и леший встал в крещенские морозы
волчицам греть дыханием сосцы...
Весной произойдут метаморфозы.



Задушен во хмелю Рубцов,
петлю примерил Б. Примеров, —
черны березы от рубцов...
Не привожу других примеров.



Олегу Чувакину

Мне ничего уже не снится,
я, как прозаик, стал дневным.
И разум в черепе ютится,
а не витает, словно дым.

Был бред священным... Я когда-то
хлебал из тазика вино,
а нынче знаю, что за дата,
и мой герой идет в кино...

И мир чудовищный — картонный,
и мир прекрасный — из папье...
Хоть черных фишек — две-три тонны,
засохла бабочка крупье...

И жутко бросить все на случай,
чтоб угадать или пропасть,

и с долей нежной, злой и сучьей
взглянуть во тьму, как в чью-то пасть...

Я не тяну живое слово,
как плод, из бездны живота...
Все отработано, готово,
и боль похожа, да не та...

Родить бы ночью (как цыганка,
в роддом пришлепав босиком).
Пусть тлеет лунная сигарка...
Уйти со сморщенным зверьком.

Ромашки

Сон

Сижу, пью кофе. Шум буфета,
баулы, баунти, вокзал...
Вот бомж (в авоське сборник Фета)
по-гречески себя назвал:

«Аидий», сунул в рот беляшик,
скелетом скрипнул на ветру,
запричитал: «Не рви ромашек,
не рви, поэт, а то умру!»

И мы нашли полцарства в баке
(Морфей крутил проектор сна), —
вязались под сосной собаки,
сосала волчью кость сосна.

Проснулся: полночь, дача, осень,
ромашки светят на луну,
их в банке семь, но будет восемь...
Не рви, поэт, а то умру.



На даче ни глада, ни мора,
в июле светло и тепло,
танцует комар Карамора,
бьет длинною ножкой в стекло.

Но грусть наступает, иль вечер,
и тут уж пляши, не пляши —
стекают оплывшие свечи
на дно потемневшей души.

Хоть светят глазища фиалки
лучом розоватым всю ночь,
когда повезут в катафалке,
мне свет их не сможет помочь.

Лишь бог комаров Карамора
мне встретится в царстве теней...
Порхает во тьме коридора
душа. Я гоняюсь за ней.

Ожидание громовых стрел

1

У меня на окне занавеска из ванной:
рыбы — вверх плавниками.
Я уже третий год пребываю в нирване,
в тишине с облаками.
За бездонным окном проплывают вороны,
даже «весла» не сушат.
Я сижу за столом, словно приговоренный,
и пишу свою душу.
Целит в правый висок из соседнего дома
мне чернильное дуло —
там овал чердака дожидается грома,
ну и чтобы блеснуло...
Так пронзит мне висок вдохновенная пуля,
или вылетит голубь?..
Ах, глаза голубые, как небо июля,
смотрят в черную прорубь.

2

Плыл с козлиною мордой ковчежец Ноев,
сгнил, рассыпался чечевицей...
Коль юрод из потемок нутра не ноет,
открываю себя ключицей...
И растут из-под век, словно два масленка,
мои очи, они же вежды...
Над заросшим прудом ждет-пождет Аленка
в старорусской своей надежде.
И приходит Четверг — с топором, в сорочке...
Или мне это счастье снится?
Нет, искрится в хвосте иль крыле сорочьем
золотое перо жар-птицы...
Вылезают из дуба клыки кабаньи,
небо в небе цветет, как ирис...
И берет в свете молнии люд кабальный
бересту, талипот, папирус...



Могол глядит, иль это просто мгла? —
да ничего, по сути, неизвестно,
но ледяная острая игла
мне входит в сердце; в горло; повсеместно.

Хоть год прошел, я помню этот миг:
ты уходила в черном, спозаранок,
влетал в окно стальной вороний крик,
рассвет сочил кровь алую из ранок.

Ну а потом: «Я больше не приду...»

Я как полярник. Ночь не убывает.
Зима-старушка шамкает в бреду.
И месяц — желтой саблей убивает.

В соседнем доме — люди за стеклом,
им там тепло, касаются друг друга.
Так почему же нас с тобой влекло
к разрыву связи, выбросу из круга?

Ты где-то спишь, и я тебе не снюсь
(да, я хочу в банальностях топиться —
«я твой навеки», «подпись», «остаюсь»)).
Любимая, как мне тебе присниться?



Кондуктор сидит на канистре с водой,
автобус скрипит вдоль оврага...
Три года назад был еще молодой,
теперь испаряется влага:
становишься сух, как последний репей,
и черств, как забытая булка,
и видишь, хоть зрелища нету глупей,
свет в темном носке закоулка.
Наверно, там душит какой-то бандит
струною от лиры вакханку.
А мне наплевать, кто в конце победит,
чей логос заполнит лоханку.
Я выйду с автобуса в свой променад,
замру на краю у оврага...
И чайчьи крики иль вопли менад
вольются в меня, словно брага.

Две реки

Он написал «У омота», «Полынь»,
«Есть парадоксы гениальной жизни»...
Сухой и черный ветер всех пустынь
метет листы по улицам Отчизны.
Черна, как нефть, тюменская Тура...
В ней нет волны Владимира Белова.
В Тюмени — темень, Тартар — и туда
влетело поэтическое Слово.

Над головой — небесная река,
я вижу тень Владимира Белова.
Треть века, вечность, рыбы-облака
в ведре его священного улова.
Чешуйки, как кольчуга, на руке
сверкают при стремительной отмашке...
Грызет он горький стебелек ромашки,
по пояс стоя в солнечной реке.

